

Иван Сергеевич Аксаков

Застой у нас происходит оттого...



Иван Сергеевич Аксаков

Застой у нас происходит оттого...

«Жалобы, сетования, пени на „застой“ не прекращаются, несмотря на шумную суету и блестящее веселье нашей „Невской Пальмиры“. Старый петербургский бюрократ, прислушиваясь к этому шуму, с одной стороны, и к этим жалобам, с другой, должен, вероятно, недоумевать: в чем же застой? Все, по-видимому, приходит, напротив, в надлежащую колею, столичная жизнь спешит „на прежняя возвратиться“, а „течение“ дел совершается установленным порядком...»

**Иван Сергеевич Аксаков
Застой у нас происходит
оттого, что решали
исторический вопрос, не
вооружась историческим
сознанием**

Жалобы, сетования, пени на «застой» не прекращаются, несмотря на шумную суету и блестящее веселье нашей «Невской Пальмиры». Старый петербургский бюрократ, прислушиваясь к этому шуму, с одной стороны, и к этим жалобам, с другой, должен, вероятно, недоумевать: в чем же застой? Все, по-видимому, приходит, напротив, в надлежащую колею, столичная жизнь спешит «на прежняя возвратиться», а «течение» дел совершается установленным порядком. Входящих и исходящих номеров счетом, конечно, не менее, чем в былые, необжалованные годы, если таковые когда бывали. Но бюрократ помоложе, да и любая газета подскажут ему, что требование предъявляется обществом вовсе не на мирное и плавное, безостановочное течение так называемых текущих дел, а на некоторого рода скачки с препятствиями, на реформы и преобразования, на смелую постановку и еще более смелое разрешение вопросов, касающихся самых существенных сторон нашего государственного политического, экономического, социального строя и т. д., и т. д. Тут застой очевиден... Ложно или основательно по-

добное требование? Жалеть или не жалеть о застое?

Не очень давно привелось нам слышать от одного умного и опытного сановника рассуждение такого рода: «В предъявляемом обществом требовании нет, собственно, ничего серьезного, определенного, насущно нужного, потому что никаких таких „спешных“, „жгучих“, „животрепещущих“ вопросов вовсе и не имеется. Потребность, выражаемая обществом, – потребность фальшивая. Оно просто избаловано двадцатью пятью годами непрерывных реформ, постоянно содержавших его в возбужденном состоянии, постоянно волновавших его более или менее сильными ощущениями. Как избалованный ребенок, которому ежедневно дарили новую игрушку и вдруг прекратили подарки, оно, оставшись без новинок, просто скучает. Необходимо, чтоб общество вышло из-под власти этого нервного, лихорадочного состояния, успокоилось, зажило по-будничному, и тогда жизнь с своими очередными вопросами потечет сама собою, нормально и правильно...»

В этом суждении, бесспорно, не малая доля

правды. В прошлое царствование – кто же этого не помнит? – кроме некоторых крупных, необходимых реформ, последовала вереница, целый «облак» реформ, более или менее ненужных, вызванных одною праздною маниєю преобразования. Все и всех обуяла, по выражению Ю. Ф. Самарина, «законодательная чесотка» или «преобразовательный зуд». Что общество отчасти избаловалось частыми новинками, привыкло испытывать то нервное щекотание, которое неразлучно с постоянным ожиданием новых сюрпризов, что оно, между прочим, просто скучает – этого нельзя отрицать; а что у него никаких определенных программ и точно сформулированных, ясно сознанных требований не имеется, об этом мы говорили и на страницах «Руси». Но – заметили мы нашему собеседнику – было бы величайшею, опасною для правительства ошибкою выводить из такой посылки заключение, будто все обстоит благополучно и никаких существенных задач в наличности не обретаются. Не менее было бы ошибочно – вину за «нервное состояние» валить на одно общество, не распознать под маскарадною,

надетою им на себя, отчасти шутовскою личиною – самого лица и под фальшью выдвигаемых требований – некоторой правды исторического инстинкта, правды, самим обществом еще не сознанной или совершенно искажаемой ее ложными формулами.

Начать с того, – говорили мы и повторяем здесь, только пространнее, – что нервное состояние общества прежде всего и ближе всего вполне достаточно объясняется и оправдывается потрясающими, небывалыми на Руси, неслыханными в целом мире событиями последних лет. Да и куда бы оно годилось, это общество, если б нервы его пребыли спокойны? Можно указать немало случаев сумасшествия, причиненного впечатлениями 1 марта. Не только нервы, но и чувства, и мысли – все пришло в смятение и не могло не прийти; общество разбилось на партии, партии занялись страстными взаимными обвинениями и самозащитой, вся наша жизнь была притянута к допросу, все прошлое и настоящее подверглось анализу, критике, все изыскивали меры для ограждения «будущего», все принялись врачевать наш «недуг» и наперерыв

предлагали лекарства, писанные – как это у нас водится – большею часть по непригодным иностранным рецептам. Но конечно, при этом все и всяк устремляли требования к правительству. Иначе едва ли и может быть в стране, где общество не приучено, даже давно отучено от самодеятельности и вновь к ней еще не привыкло; где оно, впрочем, и не ощущает себя действительною, реальною силою между двумя – уже несомненно действительными, воистину реальными историческими силами или «державами» (по выражению не политиков, а плотников). То есть: между народом, с одной стороны, и верховною властью, с другой, где, одним словом, всё и все приобвыкли ожидать почина исключительно от правительства... С такого рода нервным, вовсе не произвольным состоянием общества нельзя бы, казалось, не считаться. Вряд ли его нервы могут быть успокоены бездействием власти или, что почти одно и то же, деятельностью правительства, ограниченной одними очередными, так называемыми «текущими делами»... Сторожа в старых немецких городках имеют обыкновение призывать по но-

чам обывателей к мирному сну известными возгласами: «Спите, почивайте – за вас бодрствуют» – и обыватели засыпают спокойно и покорно, зная, что это правда. Вот эту-то уверенность, что «сторожа бодрствуют», едва ли бы не мешало внушить и русскому обществу вместе с приглашением его к успокоению... Во всяком случае бодрый, энергический почин, проявленный властью в непосредственно принадлежащей ему сфере действий и устремленный к уврачеванию, по крайней мере к признанию и к точному уразумению наших общественных зол, несомненно более способен подействовать умиротворительно на «нервность» русского общества, вселить бодрое же и доверчивое терпение людям всех партий и направлений, нежели простое отрицание каких бы то ни было настойчивых задач или почти болезненный, суеверный страх каких бы то ни было новых «вопросов».

Что же касается «правды исторического инстинкта», неосознанные побуждения которого, глухо волнуя общество, также расстраивают его нервы, и который до сих пор не обрел себе для выражения истинной формулы

или же кривится в кривом зеркале нашего сознания, – то смысл этих наших слов следующий. Неужели – говорили мы нашему собеседнику – думаете вы, что освобождение крепостных крестьян, что реформа 19 февраля 61 года так-таки и завершена вполне, дело поконченное, отжитое, о котором докучают нашей памяти одни лишь выкупные платежи? Да она еще длится, и не может не длиться. Эта реформа – больше чем переворот, в обыкновенном значении слова; это целая революция, конечно мирная, но все-таки революция (так как этот термин возводит понятие о перевороте в его наиполнейший, усиленный и принудительный вид), – одна из величайших социальных революций, какие знавала история. И мы еще до сих пор обретаемся в революционном процессе, продолжаем испытывать на себе его действие. Мы сорвались с одного берега, но еще не пристали к другому; мы все еще несемся вниз по реке, – мы все еще, как выражаются немцы, *im Werden* – творимся. Такого рода ощущение, особенно пока оно не возведено в объект сознания, не может не сказываться во всех отправлениях

жизни чем-то более или менее болезненным, ненормальным, – тем, что французы называют *malaise* и что можно перевести словом: «не по себе»... Во всем этом нет ничего нового, возразят нам: кто ж не знает, что мы находимся в переходном состоянии? Пожалуй и знают, да плохо сознают. Мы готовы принять и этот термин, часто, действительно, употребляемый, но без надлежащего углубления в смысл. К нему, к этому ходячему выражению, прибегают нередко для объяснения причины, почему наше время так неблагоприятно для развития художественных талантов, для свободного творчества в области искусства; но прочие области духа и жизни при этом обыкновенно упускаются почему-то из виду, особенно со стороны властных сфер, так охотно обвиняющих русское общество в избытке нервозности. Переходное состояние – тоже ведь состояние ненормальное; но иное дело, когда переходишь от известного к известному же, или когда от известного идешь – сам ясно не видя куда. Рушился старый, вековой быт, а новый еще не сложился, и как он сложится – еще не ведомо. Сойдя с твердо устано-

вившейся исторической почвы, мы еще не ощупали под ногами такой же твердой новой, но все же исторической почвы, а та, по которой мы еще шествуем, зыбка, – как будто ходуном ходит.

В том-то и дело, что освобождение крестьян от крепостной зависимости не было каким-нибудь перечислением предметов из одного ведомства в другое или одною из полезных реформ в ряду прочих, – даже, пожалуй, самую важную из них, увеличившею на 20 миллионов число полноправных, с русской точки зрения, граждан. Приступая к этому великому действию, мы не только не отдавали себе ясного отчета в его значении, в объеме его последствий, но даже и теперь не стоим с ним в уровень нашим сознанием. Доказательством первого служит хоть бы то, например, что одновременно с освобождением (на которое почти все смотрели с точки зрения только или преимущественно гуманной и либеральной) поднесли у нас, водясь духом либерального доктринаризма, этому освобождающемуся народу, вместе с опьяняющим «кубком свободы» и вольной, кубок пьяной сиву-

хи в буквальном смысле, то есть – пресловутую дешевку!.. Потомкам покажется это, пожалуй, истинным преступлением, но мы, современники, знаем, что это произошло... так, по недомыслию, из либерального благодушия. Если народ не обезумел нравственно от двойного хмеля, так, конечно, этим обязан он только себе, своим нравственным качествам, а никак не административной мудрости. Мало того: в Западном крае, выпуская народ из крепостной зависимости, напустили на него, одновременно, и евреев, отменив запрещение для них водворяться в селах, арендовать землю, держать кабаки, – одним словом, массу искусных эксплуататоров, от которых дотоле, более или менее, ограждались крестьяне не только законом, но и помещичьей властью. Последствия этого либерализма сказались еще недавно. И того мало. Одновременно же с тем страшным экономическим кризисом, которому подверглось помещичье поземельное хозяйство (один из существеннейших факторов экономической жизни нашей, по преимуществу земледельческой страны), именно в ту минуту, когда это хозяйство нуж-

далось в дешевом поземельном кредите, – тут-то как раз и был уничтожен существовавший издавна, благодетельный, теперь-то именно и нужный кредит в образе «ломбардов» или «опекунских советов», уничтожен так себе, несмотря на огромные выгоды, приносимые им государству, единственно вследствие обуявшего, в свою очередь, и Министерство финансов реформаторского духа... Этих доказательств достаточно, как мало сознавали мы значение «эмансипации» в ту самую минуту, когда к ней приступали.

Но и теперь еще мы едва ли доросли до нее сознанием. Давно ли стали мы догадываться, что, уничтожая помещичий быт и крепостную зависимость крестьян, мы копнули в самую глубь родной истории? Мы смели вековые наносы и обнажили стародавний пласт, историческую целину, да и не знаем как с нею и быть: нет у нас для нее ни семян, ни соответствующих орудий; семена и плуги, которые годились для наносных слоев, ей не пригодны. Мы решали исторический вопрос – не вооружась историческим сознанием, которым наше общество до позора скудно, запамя-

товав исторические предания! Это ведь почти все равно, – позволим себе, для уяснения нашей мысли, прибегнуть к гиперболе, – как если бы наше русское наинароднейшее дело вздумали обделывать англичане или немцы... Конечно, обделывали его не англичане и не немцы, но мы, русские; да русские-то мы едва ли только не по природе своей, пожалуй, по инстинкту, – наши же умственные и духовные весы и мерилы, наши приемы мышления, наше мирозерцание – по большей части заемные, чужие. Природный и исторический инстинкт еще не возведен в сознание русского общества, да и жизнь русского народа для большинства русской интеллигенции – еще загадка, *terra incognita*. Конечно, русский инстинкт проявился уже в самом принципе освобождения крестьян с землею, но в реализации этого факта (например, в выкупе) выразилось начало совсем иное и русскому духу чуждое. То же и относительно административного устройства крестьян. Да и вообще такого рода противоречий, – противоречий в началах, в духе, – преисполнено Положение 19 февраля. Не все, разумеется, рус-

ские люди были в ту пору убоги народным и историческим разумением наших начал, — были и исключения, и эти исключения образовали даже целую школу, имевшую голос и в литературе (хотя в то время еще и очень слабый). Некоторые из людей этого направления принимали участие и в составлении самого Положения. Им, конечно, обязана Россия тем, что в его постановлениях есть лучшего; но отстаивая русское народное или историческое начало в одном месте, они вынуждены были делать уступки в другом, ради успеха всего дела, да и потому, что весь господствующий вокруг, властный строй мыслей был этому началу враждебен. Были также люди — очень немногие, мы знаем их человека два-три, — которые, при всем горячем сочувствии к освобождению крестьян, не дали себя ослепить блеском великой реформы и зорко увидели вдали будущего тяжкие последствия противоположности начал и взаимного недо-разумения. К числу этих немногих принадлежал К. С. Аксаков, которого глубокая любовь к народу озаряла порой, по выражению Хомякова, истинным ясновидением и которого

опасения, по поводу предпринятого дела эмансипации, выражены в помещаемых ниже письмах и «Замечаниях».

В самом деле, в то время, как все перевернулось или еще переворачивается вниз, в народном быту и даже в общественном строе России, – верхние ее ярусы пребывают неизменными. Мы разумеем здесь, конечно, не исторический принцип власти; в сохранении этого принципа мы видим, напротив, залог нашего исторического будущего и возвращения России на путь исторический и народный... Боже сохрани, чтоб этот принцип был поколеблен, – напротив, он должен быть утвержден и, так сказать, восстановлен во всей чистоте своего исторического, своего земского значения. Наше замечание о неуместной неизменности относится к тому иностранному типу политического государства, который водворился у нас со времен Петра и глушит самобытное развитие истинно русских народных начал с земскими основами государственного строя... Совершилось уничтожение крепостной власти. 20 миллионов русского народа, 20 миллионов неправ-

ных стали полноправными гражданами. Вместе с ними и в их лице выступил на поле нашей истории, нашей внутренней, русской гражданской жизни – новый земский, народный двигатель... А петербургский период русской истории однако же не завершился! Петербург остается все тем же властным Петербургом, – центр тяжести государственного правления не переместился, как бы следовало, куда-либо в центр государства, а продолжает по-прежнему пребывать чуть не за границей... Мы когда-то выразились, что период крепостного права был периодом долгой мучительной исторической формации, благодаря которой сложилось у нас оседлое, землевладельческое крестьянство и явилась наконец возможность полного развития в государственном строе нашей земской исторической стихии. Манифест 19 февраля, сказали мы, примыкает к указу 1592 и «Государь Александр II подает руку царям Федору и Борису»... Государь Александр II, он лично – да, но уж никак, например, Сперанский не мог бы протянуть руки правителю Годунову или кому бы то ни было в допетровской Руси...

Никак не бюрократ Сперанский, который и историю-то России начинал только с Петра, признавая целые восемь веков ее существования периодом доисторическим! Мы, впрочем, пользуемся его именем для олицетворения всей системы бюрократизма, которой он был – не творцом, ибо он ее целиком взял из-за границы, – а насадителем. Гением его и до сих пор вдохновляется наш бюрократический правящий мир... При всей злой неправде помещичьей власти, она, по выражению К. С. Аксакова, служила как бы стеклянным колпаком для подчиненного ей народа, охранявшим последнее убежище русской самородной жизни от непосредственного воздействия чуждых бюрократических начал. Стеклянный колпак разбился, и на это убежище обрушилась... сперанщина.

Но резиденция ее не в одних лицах, штатные должности занимающих. К. Д. Кавелин, – с благою целью отстранить предубеждение, господствующее в петербургском чиновном и сановном мире против «сведущих людей», – утверждает, что никакой резкой разницы между теми и другими собственно и не суще-

ствует, кроме той, что последние обладают большим и более свежим запасом сведений о нуждах и потребностях своей местности: все эти «сведущие люди» сами большею частью состояли на службе; сегодняшней чиновник завтра может стать уездным жителем и «сведущим человеком», и наоборот... Достопочтенный профессор совершенно прав, более прав, чем он думает. Действительно, все мы – неслужащие, ученые, литераторы, вся наша «публика», наша «интеллигенция» – все мы более или менее заражены бюрократизмом, отравлены канцелярски-полицейским началом. Все мы лишены простого, непосредственного чутья русской жизни, все всосали в кровь и плоть, и не столько с молоком матери, сколько с воспитанием, начала, воззрения, потребности, идеалы, критериум чуждого нам строя. Всех по пятам, во всякой деятельности, словно дьявольское наваждение, преследует формализм и казенщина.

Положение 19 февраля признало и установило крестьянское самоуправление. Во что же обратилось у нас хоть бы, например, волостное правление? Никто, конечно, специ-

ально о том не хлопотал, но уже таковы все условия нашей государственной жизни, что волостному писарю приходится вести иногда до девяноста книг и росписей, и волостному правлению – очищать чуть не несколько тысяч NN «входящих»!.. Но это – волостное правление, место всем в мире подчиненное, от всех начальств зависимое... Обратимся к самоуправлению, несравненно более независимому – городскому и земскому. Разве это живое, самородное, органическое, а не казенное, не искусственное самоуправление? Разве наши земские и городские управы не те же казенные присутственные места? И разве кто-либо неволит их быть таковыми? Разве обязателен для них регламент Петра Великого или формализм новейшего бюрократического мышления? Все клянут хором формализм и казенщину и обойтись без них не способны, не могут! А между тем, не просили ли все этого самоуправления как манны небесной? Для того, чтоб лучше оттенить характер последнего, обратимся к остаткам самоуправления старинного, «самородного», как мы выразились, обойденного более или менее и сперанци-

ной. Они еще хранятся в тех общественных классах, которые в допетровской Руси и составляли так называемую земщину и на которые наша литература не распространяет названия «интеллигенции». Возьмем, например, хоть наше московское купечество, которое в своем сословном самоуправлении – и деятельно, и предприимчиво, учреждает школы и богадельни в обширных размерах, то и дело воздвигает здания громадные, солидные, прочные. И те же самые купцы в составе всесословного городского представительства, вкуче с прочими гласными Думы, почти не в состоянии выстроить ничего – сразу, солидно, прочно и экономно, несмотря на обилие комиссий, инспекции и контроля... Но о сословных самоуправлениях мы поговорим когда-нибудь особо. Положим, Думы и Земские управы – это учреждения государственные.

Взгляните на любой Благотворительный Комитет, на любое частное общество, – и те норовят обратиться в присутственные места, и там от публики и от самих членов услышите те же жалобы на бесплодность результатов, на безжизненность, на «казенщину»...

Почему же так? Не значит ли это, что дух жизни в нас, который по нашей русской природе не может быть иной, как дух жизни русской, закован в чужие формы или до такой степени слаб, что не может овладеть этими формами, усвоить их, оживить, одухотворить, освоеобразить... И выходит, будто мы у себя дома не дома, – не хозяева, а гости, щеголяем неумело в платьях с чужой мерки сшитых, и путаемся мы в них, и неловко нам, и тоскливо, и движения наши несвободны.

А между тем ход истории не останавливается и постоянно выдвигает задачи и вопросы русской жизни, требующие сродного, русского же решения... Мы же и подойти к ним не можем иначе как исходя из начал жизни противоположных, не умеем ни согласить их, ни примирить, и только искажаем начала русские формами иного быта и иного строя!..

Вот где и трагизм нашего положения, вот где и коренная причина всеобщего нервного состояния и истинный, главный источник нашей щемящей, внутренней боли, независимо от чужих, наносных временных недугов...

При таком положении дел – «застой», про

который говорится теперь так много, хотя и принадлежит к разряду явлений аномальных, однако ж становится понятным и имеет свое историческое оправдание... Жалеть ли о нем? Конечно, лучше временный застой, чем горячая деятельность впустую или в направлении неизбежно ошибочном, – но лучше, разумеется, при условии, что это время будет проведено с пользою. Воспользуемся же наставшим застоєм, чтоб отдаться работе мысли, труду нашего национального самосознания, его эмансипации, его исправлению, – уразумению истинного духа русской жизни и всех ее коренных органических начал, одним словом – правды народной; допросим духа истории, предпримем подвиг своего общественного перевоспитания... Вот что нам на потребу и без чего не найдем мы правильного решения ни одному современному, мучающему нас вопросу...

Было время, когда наука, культура, цивилизация устремлялись на русскую землю исключительно сверху, когда правительство было единственным педагогом... Не настала ли пора для обратного хода просвещения или

педагогической деятельности в России? Вместо либеральных и иных «веяний», веющих на наших правительственных вершинах извне, не время ли повеять снизу вверх духу земли нашей, – тому духу, который создал и держит русское государство, – духу жизни русской, русской народности, русской истории, – и, поднимаясь с самой материковой, народной почвы, обнять собою, любовно и плодотворно, нашу высь и всю властную сферу?..